БИБЛИОТЕКА „В ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩЕМУ“.
№ 12.

Ф. ЛАССАЛЬ.

ПРОГРАММА РАБОТНИКОВ

ИЗДАНИЕ
Центральной Комиссии Помощи Голодающим
при В. У. Ц. И. К

Брошюра набрана и выпущена в течение одной недели ночной работы, наборщиком, героем труда, тов. ***М. З. Бережанским***, **награжденным ВУЦИК'ом за подвиги на трудовом фронте ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, 17 августа 1921 г.**

Весь доход и стоимость работы этой брошюры поступит в пользу голодающих.

Тираж 10.000 экземпляров.

Типо-Литография Штаба ВСУ.

Господа!

Получив приглашение прочитать перед вами доклад, я подумал, что будет удобнее всего избрать и *строго-научно* обработать такую тему, которая по самой своей сущности могла бы особенно интересовать вас. Поэтому я намерен говорить о той *особенной* связи, которая существует между характером современной исторической эпохи и идеей рабочего сословия.

Как я уже сказал, мое отношение к избранной мною теме будет *строго*-научным.

Но истинная научность состоит ни в чем ином, как в совершенной *ясности* и, соответственно этому, в полной непредубежденности мысли.

И вот, чтобы предохранить себя от какого-либо предубеждения по отношению к нашему предмету, мы постараемся на протяжении этой беседы выяснить себе даже и то, что мы, собственно, понимаем под именем „работников" или „рабочего сословия". Ибо и относительно этих понятий мы не имеем права предположить заранее что-нибудь известным. Не имеем права ни в коем случае! В обыденной речи слова „работник" и „рабочее сословие" весьма часто имеют различное значение, и потому в дальнейшем нам необходимо будет уяснить себе, какое понятие соединяем с этими словами мы сами.

Но пока это еще преждевременно. Свой доклад мы начнем с постановки другого вопроса.

Этот вопрос гласит так. Рабочее сословие есть лишь *одно* сословие среди многих других, из которых

составлено теперешнее гражданское общество. С другой же стороны, работники существовали также *во все* времена. Как же возможна и какой *смысл* имеет какая-то особенная связь между идеей одного частного определенного сословия и принципом исторического периода, в котором мы живем?

Чтобы понять это, необходимо, господа, обратиться к *истории*, к *прошедшему*, которое, если его верно истолковать, всегда об'ясняет значение настоящего и вырисовывает контуры будущего.

Нам необходимо, господа, соблюдать в этом историческом обзоре возможную краткость, потому что иначе нам грозит опасность не успеть добраться до рассматриваемого предмета в то короткое время, которое отведено для нашей беседы.

Чтобы избежать этой опасности, мы бросим взгляд на прошедшее в его самых общих чертах, и каким бы беглым этот взгляд ни был, он все же даст нам возможность ответить на наш вопрос и понять нашу тему.

Обращаясь к средним векам, мы найдем, что и тогда в целом существовали те же классы и сословия, из которых составлено и современное гражданское общество, хотя долгое время они не были так резко разграничены, как теперь. С другой же стороны мы находим, что в то время *одно* сословие и *один* элемент пользовались *преобладанием*. Это было *землевладение*.

Землевладение, господа, держало в своих руках в средние века скипетр общества, налагало особенный специфический отпечаток на *все* учреждения и на всю жизнь того времени; его надо признать господствующим принципом этого исторического периода.

Причина его господства очень проста. Она заключается—здесь для нас вполне достаточно и этого об'-

ясненія—въ экономической, хозяйственной организаціи средневѣковья, въ состояніи его производства. Торговля въ то время была еще мало развита, промышленность и того меньше. Главное богатство тогдашняго общества заключалось въ *земледѣльческомъ производствѣ*, которое безконечно перевѣшивало всѣ прочія отрасли производства.

Въ виду преобладающей поземельной собственности, *движимой* собственности не придавалось тогда большого значенія. Что это было именно такъ, ясно показываетъ средневѣковое гражданское право, всегда ярко освѣщающее экономическія отношенія эпохи, въ которыхъ оно возникаетъ. Чтобы сохранить фамильное достояніе изъ рода въ родъ и предохранить его отъ расточенія, средневѣковое гражданское право постановляло неотчуждаемость семейнаго имущества, или „*отчины*" безъ согласія наслѣдниковъ. Но подъ этимъ семейнымъ достояніемъ, или „*отчиной*", разумѣлась только земля. Напротивъ того, движимость можно было отчуждать безъ спроса наслѣдниковъ. И вообще, древне-германское гражданское право разсматриваетъ всякую движимость не какъ самостоятельный, производительный имущественный фондъ, *капиталъ*, а всегда лишь, какъ плодъ земли и почвы, — слѣдовательно, какъ, наприм., годовой сборъ жатвы, къ которому движимость совершенно приравнивается. Такимъ образомъ, самостоятельнымъ, производительнымъ, имущественнымъ фондомъ считалась тогда только поземельная собственность. Вотъ почему вполнѣ соотвѣтствовало положенію вещей и было простымъ слѣдствіемъ этого положенія то обстоятельство, что тогда во всѣхъ отношеніяхъ господствующимъ въ обществѣ факторомъ была поземельная собственность и, соотвѣтственно,—тѣ сословія, которымъ она преимущественно принадлежала, т. е., дворянство и духовенство.

И какое бы учреждение средних веков вы ни рассматривали, всюду замечаете вы *это* явление.

Для нас достаточно взглянуть на некоторые важнейшие из этих учреждений, в которых землевладение является господствующим началом.

Такова, во-первых, обусловленная этим началом организация *общественной* власти, или ленное устройство. Как вам известно, господа, оно состояло в том, что короли, князья и владетели уступали другим владетелям и рыцарям в пользование земли, а пользующиеся обязывались за это преимущественно феодальной службой, т. е., принимали обязательство помогать своему сюзерену во всех его войнах или распрях, как лично, так и своими людьми.

Такова, во-вторых, организация *публичного* права, или государственное устройство. На немецких имперских сеймах представительство имели только сословие князей и крупное землевладение имперских графов и духовенства. Даже города только в том случае пользовались местом и голосом в сейме, если им удавалось приобрести привилегию вольного имперского города.

Такова, в-третьих, *податная льготность* крупного землевладения. Это именно характерное и постоянно повторяющееся явление, господа, что всякое господствующее привилегированное сословие непременно старается свалить бремя общественных расходов на угнетаемые и неимущие классы,—свалить в какой бы то ни было форме: откровенно или лицемерно, прямо или косвенно. Когда в 1641 году Ришелье потребовал от духовенства 6 миллионов франков, в качестве чрезвычайного налога, для удовлетворения насущных нужд государства, то духовенство устами сенского архиепископа дало характерный ответ: „L'usage ancien de l'église pendant sa vigueur était que le peu-

ple contribuait ses biens, la noblesse son sang, le clergé ses prières aux nécessités de l'Etat" т.-е. «древним обычаем церкви во времена ее расцвета' было, чтобы народ служил нуждам государства своим имуществом, дворянство—своею кровью, духовенство—своими молитвами».

Таково, в-четвертых, *общественное презрение,* тяготевшее на всякого рода труде, кроме занятия землей и почвой.

Вести промышленные предприятия, добывать деньги торговлею или ремеслами казалось господствующим привилегированным сословиям, дворянству и духовенству, позорным и бесчестным, а приличным считалось для них извлекать доходы лишь из поземельной собственности.

Этих четырех великих и знаменательных фактов, определяющих основной характер эпохи, совершенно достаточно, чтобы видеть, что в средние века землевладение во всех случаях было господствующим началом и налагало на все свою печать.

Господство этого начала простиралось до такой степени, что из него исходило даже, повидимому, вполне *революционное* движение Крестьянских войн, которые вспыхнули в 1524 г. в Германии и обняли всю Швабию, Франконию, Эльзас, Вестфалию и другие части Германии; это движение, внутренне вполне покоящееся на указанном начале землевладения, несмотря на свою революционную оболочку, было, следовательно, в действительности реакционным. Вам известно, господа, что крестьяне жгли тогда замки дворян, убивали самих дворян или, что тогда было обычною формою, прогоняли их сквозь строй копий. И тем не менее, несмотря на такую революционную внешность, движение это по своей сущности было чисто-реакционное.

Ибо, по понятию крестьян, возрождение государственных отношений, немецкая свобода, которую они хотели восстановить, должна была состоять в уничтожении особого, привилегированного, промежуточного положения, занимаемого князьями между императором и государством, и в замене его на немецких имперских сеймах исключительным представительством *свободного независимого* землевладения, не только *крестьянского* и *рыцарского*, которые до тех пор не имели представительства, но и настоящего, независимого землевладения аристократии всякого рода, т.-е. рыцарей, графов и прежних князей; при этом не обращалось внимания на прежние различия, и *дворянское* землевладение должно было быть представленным наравне с *крестьянским*.

Итак, вы видите, господа, что в конце концов этот план клонился ни к чему другому, как только к более последовательному и правильному проведению принципа тогдашней эпохи, впрочем, уже приходившей к концу вместе с этим принципом; он клонился именно к наипоследовательному, чистейшему и строжайшему проведению того принципа, по которому землевладение должно быть господствующим элементом и условием, единственно дающим каждому человеку право участвовать своим влиянием в государственной жизни. Что каждый имеет право требовать этого участия уже потому, что он человек, что он разумное существо, хотя бы *без* землевладения, этого крестьянам и на ум не приходило! Для проведения таких идей тогдашнее общество было еще недостаточно развито, тогдашний образ мыслей еще недостаточно революционен.

Так это движение, отличавшееся по внешности столь революционною решительностью, по своему внутреннему содержанию было совершенно реакционно, т.-е., вместо

того, чтобы опираться на *новый* революционный принцип, оно, само того не ведая, внутренно основывалось на старом принципе, на принципе существовавшего порядка, на принципе периода, тогда уже исчезавшего; и именно потому и было погублено крестьянское движение, что, считая себя революционным, оно в действительности было реакционным.

Обоим тогдашним движениям, как крестьянскому, так и дворянскому восстаниям (Франц фон-Зиккинген), которые имели общий принцип—еще последовательнее прежнего основать участие в государственном управлении исключительно на землевладении, — обоим этим движениям противостоял расширявшийся, разроставшийся монархизм, как основанный на идее ,,верховной власти", независимой от поземельной собственности; этот монархизм был представителем ,,государственной идеи", независимой от ,,частных имущественных отношений", и потому, сравнительно с указанными движениями, он являлся стремлением относительно более справедливым и революционным. Это-то именно и дало самодержавным тенденциям князей силу победоносного развития, подавившую движения крестьян и дворян.

Я несколько подробно остановился на этом предмете, господа, во-первых, потому, чтобы показать вам разумность и прогресс свободы в историческом развитии даже такого явления, которое на поверхностный взгляд этого, повидимому, в себе не заключает; во-вторых же, потому, что историки все еще далеки от понимания реакционного характера крестьянского движения и от того, чтобы в этом обстоятельстве видеть причины его неудачи; обманутые показною стороною, они все еще считают крестьянские войны движением действительно революционным.

Наконец, в-третьих, я удержал ваше внимание на этом пункте еще и потому, что во все времена часто повторяется это любопытное явление чудовищного заблуждения неясных умов, которые принимают последовательнейшее и чистейшее выражение идеи *преходящего* периода и порядка за *новый революционный* принцип. И обратите, господа, внимание на то, что в такие заблуждения особенно склонны впадать, повидимому, наиболее просвещенные люди, например, профессора; печальной памяти франкфуртское собрание—тому доказательство.

От подобных людей и направлений, революционных лишь в собственном *воображении*, мне и хотелось предостеречь вас, господа, потому что в будущем их будет у нас также много, как было в прошлом!

Но в этом мы находим и большое утешение, потому что мы должны считать революционными лишь в воображении все многочисленные движения, вовсе неудавшиеся или погибшие после минутной удачи и падение которых вызывает грустное сожаление у иного благонамеренного, но поверхностного друга народа.

Истинно-революционное движение,—движение, покоящееся на действительно новом принципе, еще *никогда* не погибало, по крайней мере надолго; к такому утешительному заключению приходит на основании изучения истории более глубокий мыслитель.

Возвращаюсь к моему предмету.

Если Крестьянские войны были революционны только в воображении, то, напротив, *действительно*, *истинно*-революционным был в то время прогресс промышленности, прогресс гражданского производства, которое все более и более развивалось благодаря разделению труда и возникновению вследствие этого *богатства капитала*, покоившегося исключительно в руках

буржуазии, так как именно это сословие взялось за производство и присвоило себе его выгоды.

К началу реформации, т.-е. к 1517 году, относят обыкновенно окончание средних веков и наступление новой истории.

Это, действительно, верно в том смысле, что в течение двух веков, следовавших непосредственно за реформацией, постепенно и незаметно совершался переворот, совершенно изменивший внешний вид общества и произведший внутри его *перемену*, которая позже, в 1789 году, была лишь *провозглашена* Французской революцией, но не создана ею.

В чем же заключалась эта перемена?—спросите вы.

В *правовом* положении дворянства ничего не изменилось. По праву дворянство и духовенство продолжали оставаться господствующими сословиями, буржуазия же повсюду была сословием подчиненным и угнетенным. Но если ничего не изменилось в *правовом* отношении, то фактически в действительности произошла громадная перемена в изменении отношений.

Возникновение и накопление богатства капитала, а также движимой собственности в руках буржуазии, в противоположность поземельной собственности, низвели дворянство на степень полного ничтожества, поставили его даже в форменную зависимость от разбогатевшей буржуазии. Чтобы находиться хотя бы на уровне с последней, дворянству приходилось изменить все свои сословные принципы и прибегнуть к тем же средствам промышленного приобретения, которым буржуазия была обязана своим богатством, а вместе с тем и своею фактическою силою.

Уже комедии Мольера, жившего при Людовике XIV, показывают нам,—явление в высшей степени любопытное,—как тогдашнее дворянство презирало богатую

буржуазию и в то же время заискивающе пресмыкалось перед ней.

Сам Людовик XIV, этот надменнейший из французских королей, снимает в своем версальском дворце шляпу и унижается перед жидом Самуилом Бернаром, тогдашним Ротшильдом, чтобы склонить его к займу.

Когда в начале XVIII столетия знаменитый шотландский финансист Ло организовал во Франции торговые кампании, акционерное общество для коммерческой эксплоатации берегов Миссисипи, Луизианы, Ост-Индии и т. д., то сам регент Франции был в числе директоров этой кампании, членом купеческого общества! А в августе 1717 года регент был вынужден издать эдикты, по которым дворянам разрешалось поступать на военную и морскую службу этой кампании, не унижая своего дворянского достоинства! Вот *до чего*, следовательно, дошло тогда воинственное и гордое феодальное дворянство Франции! Оно сделалось вооруженным приказчиком в промышленных и торговых предприятиях буржуазии, раскапывающей все части света.

Вполне сообразно с этой фактической переменой развился в обществе в то время *материализм*, жадное, алчное стремление к деньгам и наживе, — стремление, заглушавшее все нравственные идеи и даже все сословные преимущества, что для привилегированных классов было весьма характерно. При том же регенте во Франции колесуют, как *простого* разбойника, графа Горна, одного из кровных аристократов, состоявшего в родстве со многими знатнейшими фамилиями и даже с самим регентом; а герцогиня Орлеанская, немецкая принцесса, пишет от 29 ноября 1719 года, что однажды шесть знатных дам подкараулили у ворот одного дома вышеупомянутого шотландца Ло, который был тогда первым и самым деловым коммерсантом во всей

Франции и с которым поэтому очень трудно было встретиться; они пристали к нему с просьбами уступить им часть его акций, за которые во Франции тогда вступали в драку и которые стояли на бирже в шесть—восемь раз выше номинальной цены. Ло очень спешил, не хотел ничего слышать и, чтобы отделаться от приставших дам, сказал им наконец: „Сударыни, тысячу раз прошу извинения, но если вы меня не отпустите, я лопну, так как я чувствую известную потребность и не в состоянии больше удерживаться“. На это барыни отвечали ему: „Eh bien, monsieur, pissez, pourvu que vous nous écoutiez“ („Ничего, милостивый государь, сделайти что вам надо, только выслушайте“). И действительно, пока он отправлял свою потребность, они стояли возле него и излагали ему свои дела.

Если вы снова меня спросите о причинах такого развитя промышленности и вызванного им обогащения буржуазии, то для полного об‘яснения этого явления мне понадобится гораздо больше времени, чем я имею в своем распоряжении. Я могу лишь вкратце перечислить важнейшие из этих причин: открытие Америк и неизмеримое влияние этого события на производство; открытие морского пути в Ост-Индию мимо мыса Доброй Надежды, тогда как раньше вся торговля с Востоком и Индией шла сухим путем через Суэц; изобретение магнитной иглы и компаса и, благодаря этому, большая быстрота и безопасность морской торговли что влекло за собою понижение страховой премии проложение внутри стран водных путей, каналов и шоссе, что уменьшило расходы по перевозке и дало возможность сбыта многочисленных продуктов на далекое расстояние; более действительно обеспечение владения; организованное правосудие; изобретение пороха и, как следствие этого, обуздание воинственного фео-

дального дворянства монархическою властью; распущение наемников и рейтаров, вследствие разрушения замков, и уничтожение независимых дружин баронов, которым служили эти наемники, принужденные после того искать себе занятия в средневековых рабочих мастерских. Вот события, которые увлекали вперед триумфальную колесницу буржуазии.

Перечисленные события и многие другие, которые я мог бы назвать вам, приводили к *одному* общему результату: они открывали производству *обширные* débouchés, т.-е., обширные рынки для сбыта, и удешевляли стоимость производства и перевозки, чем вызывали крупное производство, производство для *всемирного рынка*, это, в свою очередь, породило потребность в *дешевом* производстве, а эта потребность могла быть удовлетворена лишь дальнейшим *разделением* труда, т.-е. все более и более полным разложением труда на его простейшие механические операции; наконец, усовершенствование разделения труда, с своей стороны, вызывает все более обширные размеры производства.

Здесь мы находимся, господа, на почве целого ряда взаимодействий. Каждый из этих фактов вызывает другой, а этот другой, в свою очередь, влияет на первый, расширяя и увеличивая его об'ем.

Таким образом, становится ясно, что производство какого-нибудь товара в громадных массах, т.-е. производство его для всемирного рынка, возможно тогда только, если оно *дешево* и если перевозка этого товара также настолько дешева, что не повышает значительно его цены. Ибо производство в громадных массах требует и сбыта его en masse, а сбыт товара в громадных массах возможен только при его дешевизне, которая делала бы его доступным громадному числу поку-

пателей. Следовательно, дешевизна производства и транспорта товара вызывает производство его в большом количестве, в громадных массах. Понятно, также, что, наоборот, производство товара в громадных массах вызывает и увеличивает его дешевизну. Например, фабрикант, который сбывает в год 200 тысяч кусков миткаля, может продавать кусок до известной степени дешевле, чем фабрикант, производящий в год только 5 тысяч кусков, потому что первому сырой материал достался дешевле в виду оптовой закупки и потому, что он разлагает на большее число кусков свою прибыль и проценты с своего основного капитала, с помещений и машин. Удешевление производства ведет, таким образом, к его расширению, что опять удешевляет его, удешевление опять расширяет, а расширение еще больше удешевляет и т. д.

Точно также обстоит дело с *разделением труда*, которое, с одной стороны, необходимо предполагает крупное производство и дешевизну, а с другой—само является необходимым условием крупного производства и дешевизны.

Разделение труда, которое разлагает выделку продукта на множество совершенно простых, нередко чисто-механических и бессмысленных операций, и поручает исполнение каждой такой операции особым работникам, возможно только при производстве продукта в больших массах, так что оно вызывается и развивается крупным производством. Но и наоборот, это разложение работы на такие простые операции и манипуляции ведет далее: 1) к постоянному удешевлению продукта, 2) вследствие этого к производству все в больших, громаднейших массах, к производству, рассчитанному на более отдаленные места сбыта, не на тот или другой близлежащий рынок, а на *всемирный*, и 3) в виду этого

и вследствие дальнейшего разложения, которое делается возможным благодаря этому в отдельных рабочих операциях, к постоянно возрастающему прогрессу в самом разделении труда.

Посредством целого ряда этих взаимодействий был постепенно произведен полный переворот в общественном труде, а вследствие этого и во всех жизненных отношениях общества.

Этот переворот всего лучше можно уяснить себе на следующем сравнении.

На заре средних веков люди производили только для потребностей своей местности и очень ограниченного близ лежащего круга сбыта, потому что лишь небольшое число продуктов—драгоценные продукты—могли выдерживать дороговизну перевозки. Таким образом, производство всегда считалось с потребностями ограниченного района, а потому с потребностями известными, твердо определенными и неизменными. Потребности, т.-е., спрос, предшествовали предложению, т.-е., производству, и составляли для него заранее известное мерило. Или, другими словами, общественное производство было преимущественно ремесленное. В том-то и состоит разница между фабричным, или крупным производством и мелким, или ремесленным, что второе или выжидает появления потребности, чтобы начать производить, как, например, портной ждет моего заказа, чтобы начать шить мне сюртук, слесарь, чтобы делать мне замок; если же, по свойству продукта, его надо заготовлять заранее, то в этих случаях ограничиваются производством минимума потребностей своей местности и ближайшего округа, узнавая размеры этих потребностей приблизительно опытом. Так, например, жестяник заранее заготовляет известное количество ламп, которое,

как ему наверно известно, будет скоро потреблено городским спросом.

Характерными свойствами общества, производящего преимущественно этим способом, являются, господа, бедность или, в лучшем случае, самый скромный достаток, но зато и известная прочность и устойчивость всех отношений.

Но вот мало-по-малу непрестанное взаимодействие, на которое я вам указал, придало общественному труду и всем жизненным отношениям совершенно противоположный характер; *зародыш* последнего коренился в обществе давно и только теперь окончательно распустился, развился и придал общественному труду его нынешний отличительный вид. В своем современном гигантском развитии этот характер, в противоположность прежде очерченному может быть изображен так: если прежде потребность, спрос предшествовали производству, предложению, вызывали и определяли его, служили ему руководством и заранее известною мерою, то теперь производство, предложение предшествует потребности, спросу, стараются породить его. Теперь производство имеет в виду не определенную местность, не известную потребность смежного круга сбыта, а *всемирный рынок*. Люди производят для многих и для многих мест, для всех частей мира, для решительно неизвестной и недоступной определению потребности, а чтобы продукт мог вызывать потребность в нем, ему дается для этого *оружие—дешевизна*. Дешевизна есть такое оружие продукта, которым он, с одной стороны, завоевывает себе покупщика, с другой же—вытесняет с рынка все прочие товары того же рода, которые, в свою очередь, навязываются покупщику; и действительно, при системе свободной конкуренции каждый производитель, какие бы громадные массы товара он ни про-

изводил, может надеяться найти сбыт всему количеству, если ему удастся настолько хорошо вооружить свой товар дешевизною, чтобы в этом отношении можно было поразить товары других производителей.

Отличительный характер такого общества состоит в громадном, неизмеримом богатстве, но зато и в крайней шаткости всех отношений, почти в постоянной тревожной непрочности положения каждого человека и, наконец, в чрезвычайно неравномерном распределении выгод производства между его участниками.

Вот как велик был, господа, переворот, незаметно произведенный еще до конца прошлого века в самом сердце общества безмолвною революционною, разрушительною деятельностью промышленности.

Когда современники Крестьянских войн еще не дерзали и помыслить о каком-нибудь ином основании государства, кроме *землевладения*, когда они не могли даже мысленно отрешиться от убеждения, что *землевладению* необходимо принадлежит господство над государством и что участие в этом владении является непременным условием участия и в этом господстве,— в это время тихий, незаметный революционный прогресс промышленности еще задолго до конца прошлого века низвел влияние землевладения до совершенно ничтожного размера сравнительно с величиною его прежнего господствующего влияния. Землевладение заняло второстепенное место при громадно развившейся промышленности с ее новыми средствами производства и с богатствами, которые в ней заключались и которые ею изо дня в день накоплялись. Громадное влияние, которое она приобрела этим на все население и на все его отношения, распространилось даже на дворянство, большею частью обедневшее.

Вместе с этим внутри общества, в фактических отношениях его, революция наступала гораздо раньше, чем она вспыхнула во Франции, и оставалось лишь дать этому перевороту *внешнее признание*, дать ему *правовую санкцию*.

Так бывает вообще при *всех революциях*, господа! *Никогда* нельзя *сделать* революцию; можно дать лишь внешнее *правовое признание* и *последовательное развитие* революции, уже совершившейся в действительных отношениях общества.

Хотеть сделать революцию—это только затея глупых, неразвитых людей, не имеющих никакого понятия о законах истории.

Но та же самая глупость, то же ребячество сказываются в желании отсрочить и остановить революцию, уже совершившуюся внутри общества; то же можно сказать и о сопротивлении ее правовому признанию, об упреках всему обществу, в котором произошла такая революция, или отдельным людям, которые участвовали в процессе рождения революции. Раз революция совершается внутри общества, в его действительных отношениях, ей надо получить внешнее выражение и войти в законодательство, и никакими мерами ее не остановишь.

Поскольку революцию можно задержать и как далеко заходили усилия такого рода в то время, о котором я говорю, лучше всего покажет вам следующий факт.

Я уже говорил вам выше о разделении труда, развитие которого состоит в разложении производства на ряд простых, нелогических и бессмысленных самих по себе операций.

Когда разложение это простирается все дальше и дальше, то, наконец, открывают, что эти отдельные простые и бессмысленные операции могут также ус-

пешно или даже еще успешнее исполняться неразумными факторами; так еще в 1775 году, следовательно за 14 лет до Французской революции, Аркрайт изобретает в Англии первую машину — свою знаменитую хлопчато-бумажную ткацкую машину.

Само собою, Французскую революцию произвела не эта машина сама по себе; машина была изобретена слишком незадолго до революции, чтобы оказать такое влияние, да притом во Франции она была введена не тотчас по изобретении. Но тем не менее несомненно, что эта машина воплощала в себе революцию, фактически уже наступившую, уже совершившуюся. Она, эта машина, несмотря на свой невинный вид, была революцией в вещественном образе.

Причины этого просты.

Вы, конечно, слыхали о цехах, в которых вращалось средневековое производство.

Я не могу входить здесь в подробное рассмотрение цехов, как и в рассмотрение свободной конкуренции, всюду заменившей цехи со времени Французской революции. Я могу только удостоверить тот факт, что средневековые цехи были нераздельны со всеми прочими учреждениями средних веков. Хотя в этой беседе я не могу об'яснить вам причины этой неразрывной связи, однако самый факт ее можно доказать просто исторически. Цехи существовали во все время средних веков до самой Французской революции. Еще в 1672 году об отмене их толковали на немецком имперском сейме, но напрасно. Точно также раньше, в 1614 году, на французском Etats generaux, собрании государственных чинов, буржуазия напрасно требовала отмены цехов, повсюду стеснявших производство. Мало того, за тринадцать лет до революции, в 1776 году, французский министр, знаменитый реформатор Тюрго, отменил цехи

Но феодальный, привилегированный класс средних веков совершенно справедливо сообразил, что ему грозит смертельная опасность, если его жизненный принцип, привилегия, перестанет проникать все классы общества, и через шесть месяцев по уничтожении цехов король был побужден дворянством отменить свой указ и восстановить цехи. Только революция свергла — но это случилось в один день со штурмом Бастилии—то, чего тщетно добивались легальным путем в Германии с 1672 г. и во Франции с 1614 г., т.-е. почти *два* столетия.

Из этого вы видите, господа, что при всех своих громадных преимуществах легальные реформы имеют одно очень важное неудобство—бессилие, простирающееся на целые столетия; с другой же стороны, революционный путь, несмотря на свои видимые дефекты, отличается тем, что быстро и энергично ведет к осуществлению практической цели.

Если мы примем за доказанное, что цехи были нераздельны со всеми общественными учреждениями средних веков, то тотчас же увидим, почему первая машина, ткацкая машина Аркрайта, содержала в себе *полное* преобразование всех этих общественных учреждений.

Ибо разве возможно было машинное производство при цехах, если цеховым законом было точно определено для каждой местности, сколько подмастерьев и учеников имеет право держать каждый мастер? Или возможно ли было машинное производство, требующее соединения самых разнообразных работ под рукой одного капитала,—возможно ли было это при цехах, где все отрасли труда были строго отделены друг от друга законом, где каждый мастер мог заниматься лишь исключительно какою-нибудь одною отраслью, так что, например, парижские портные и кузнецы вели по сто

лет процессы с заплаточниками и слесарями из-за определения границ своих ремесл?

Таким образом, производство своим собственным постоянным и постепенным совершенствованием дошло, наконец, до изготовления таких рабочих инструментов, от которых весь общественный порядок должен был разлететься в прах,—до таких способов производства, которые не могли найти себе места при этом порядке.

В этом смысле, как я сказал, первая машина сама по себе была революцией, потому что в своих зубцах и колесах содержала зародыш всего нового общественного порядка, основанного на свободной конкуренции, —порядка, который с силой жизненной необходимости должен был энергически развиться из нее, хотя внешний вид машины, конечно, не имел ничего угрожающего для старых отношений.

Так и теперь, господа, если я не ошибаюсь, существуют некоторые явления, заключающие в себе новый порядок вещей и долженствующие необходимо развить его из себя. Эти явления с внешней стороны, повидимому, совсем незаметны, так что власти, преследующие всяких безобидных агитаторов, не только проходят мимо таких явлений, ничего не подозревая, но даже признают их неот'емлемыми носителями нашей культуры, приветствуя их, как цвет и вершину ее, и при случае восхваляя их в торжественных речах.

После всех этих раз'яснений вы вполне поймете, господа, истинное значение знаменитой брошюры аббата Сийэса, изданной за год до Французской революции, в 1788 году, содержание которой можно кратко выразить следующими словами самого автора: „Qu'est ce que c'est que le tiers état? Rien! Qu'est qu'il doit être? Tout!“

Tiers état, т.-е. третьим сословием, называлась во Франции буржазия, потому что она составляла на собрании государственых сословий при двух привилегированных сословиях—духовенстве и дворянстве—третье сословие, представлявшее собой весь непривилегированный народ.

Итак, все содержание брошюры Сийэса сводится к двум вопросам, которые он сам задает и на которые сам же отвечает: „Что такое *третье* сословие? Ничто! Чем оно должно быть? Всем!"

Так формулирует Сийэс оба эти вопроса и ответы. Но истинный смысл этих вопросов и ответов, как это следует из всего вышесказанного, гораздо лучше и вернее выразить бы так:

„Что такое *третье* сословие *фактически, в действительности*—*Все!*"

„Но что такое оно *по праву*—*Ничто!*

Дело шло, следовательно, о том, чтобы *уравнять правовое* положение третьего сословия с его *действительным* значением. Дело шло о том, чтобы доставить уже приобретенному третьим сословием *действительному* значению *правовое* признание и санкцию: и в том именно заключались смысл и понятие победоносной революции, которая вспыхнула в 1789 году во Франции и оказало преобразовательное влияние на все европейские страны.

В мою задачу не входит, господа, рассказывать об истории Французской революции. Мы остановимся только на важнейших и решительнейших переходных моментах общественных периодов, да и то лишь бегло и мимоходом, соответственно имеющемуся в нашем распоряжении времени.

Прежде всего необходимо спросить, кто же было это третье сословие, или буржуазия, которая одержала

во Французской революции победу над привилегированными сословиями и достигла господства в государстве.

Имея против себя привилегированные сословия общества, обладавшие узаконенными преимуществами, третье сословие сочло себя на первых порах солидарным со всем народом, сочло *свое* дело общим делом всего *человечества*. Отсюда возвышенное, могучее одушевление, господствовавшее в ту эпоху. Провозглашаются *права человека*, и можно подумать, что с освобождением и господством третьего сословия в обществе перестали действовать все привилегии, что всякое установленное *правовым* образом *привилегированное* различие между людьми погибло в единой идее свободного человека.

Правда, уже тогда, в начале движения, в апреле 1789 года, по случаю выборов в государственные чины когда король предписал, чтобы в этот раз одно третье сословие прислало столько депутатов, сколько дворянство и духовенство вместе, одна далеко не революционная газета писала: „Qui peut nous dire, si le despotisme de la bourgeoisie ne succédera pas à la prétendue aristocratie des nobles?“, т.-е. „кто поручится нам, что мнимую аристократию дворянства не заменит деспотизм буржуазии?“.

Но при общем одушевлении таких возгласов тогда не слушали.

Так или иначе, но, возвращаясь к нашему предмету, мы должны определенно поставить такой вопрос: было ли дело третьего сословия действительным делом *всего* человечества, или не заключало ли в себе это *третье* сословие, буржуазия, еще *четвертого* сословия, от которого ей предстояло отделиться в правах и которое

она современем должна была подчинить своему господству?

Здесь мне пора уже об'яснить значение слова *буржуазия*, как наименование *политической партии*, пора заявить, в каком смысле употребляю *я* это слово, потому что иначе грозит опасность, что мой доклад вызовет крупные недоразумения.

Слово буржуазия означает, собственно, *гражданство*. Но я употребляю его не в этом значении; мы *все—граждане*,—и работники, и мелкий промышленник, и крупный и т. д. Это слово с течением времени приняло другое значение: оно стало обозначать *определенное политическое* направление, которое я сейчас изложу вам.

Весь класс граждан не-дворян разделялся при возникновении Французской революции, а также разделяется и теперь, на *два* подкласса; во-первых, на класс лиц, извлекающих свой доход исключительно или *преимущественно* из своего личного *труда*, причем они или вовсе не поддерживаются капиталом, или обладают самым незначительным капиталом, который дает им лишь возможность заниматься производительной деятельностью, прокармливающею их самих и их семейства; к этому классу принадлежат работники-ремесленники, мелкие промышленники и крестьяне. Во-вторых, не-дворянами будет и тот класс лиц, который обладает крупным имуществом, *большим* капиталом, который производит и извлекает прибыль на основании подобного большого фонда; этих лиц можно было бы назвать *крупными гражданами*. Но крупный гражданин, господа, сам по себе, как таковой, еще совсем не буржуа.

Ни один гражданин ничего не имеет против того, чтобы дворянин в своей частной жизни гордился своими

предками и своими угодьями. Но если дворянин вздумает настаивать на том, что эти предки и эти угодья имеют особенное значение и дают право на исключительные преимущества в государстве, дают право владычествовать над государственной волей, то гражданин вознегодует на дворянина и назовет его феодалом.

Соответствующим же образом обстоит дело и в гражданских отношениях, когда речь идет о фактических имущественных различиях.

Само собою, что нет ничего проще, естественнее и законнее, когда крупный собственник в своей частной жизни наслаждается удобствами и выгодами, которые доставляет ему обладание большим имуществом!

Но точно также работник и мещанин, вообще весь не владеющий капиталом класс, имеет право требовать, чтобы государство обратило все свои помыслы и усилия на улучшение горького и порабощенного нуждою материального положения рабочих классов; он имеет право требовать, чтобы государство стремилось помочь тем, чьими руками создаются все богатства, которыми кичится наша цивилизация, все продукты, без которых общество не могло бы просуществовать ни одного дня; он в праве требовать, чтобы государство помогло ему достигнуть более значительного и обеспеченного дохода, а вместе с тем и возможности духовного развития и, значит, достойного человека существования; но рабочие и классы, добиваясь всего этого от государства, и усматривая именно в этом истинную *цель* государства, в то же время не должны забывать и никогда не забудут, что *всякая собственность, однажды законно приобретенная, вполне неприкосновенна и правомерна.*

Но если крупный собственник, не довольствуясь фактическими удобствами богатства, хочет еще сделать свое богатство, *капитал*, условием участия в государствен-

ной власти, в определении воли и цели государства. *тогда* только он обращается в буржуа, тогда он обращает *факт* владения в правовое условие политической власти; *тогда* он характеризует себя, как новое привилегированное сословие в народе,—сословие, которое стремится навязать всем общественным учреждениям типические признаки своей привилегии, как делало это в средние века дворянство с привилегией землевладения.

Следовательно, вопрос, который мы должны себе поставить относительно Французской революции и следовавшего за нею нового исторического периода, представляется в следующем виде: „казалось ли третье сословие, достигшее через эту революцию господства, буржуазией в указанном смысле? Хотело ли оно подчинить и подчинило ли народ своему привилегированному политическому господству?"

Ответом на это должны служить великие исторические факты, и они *решительно* отвечают в *утвердительном* смысле.

Мы можем бросить лишь беглый взгляд на важнейшие из этих фактов, которых, впрочем, достаточно для решения вопроса.

Уже в первой конституции, явившейся следствием Французской революции, конституции 3 сентября 1791 года постановляется (глава I, ст. 1 и 2) различие между citoyen actif и citoyen passif, т.-е. между активным гражданином и пассивным гражданином. Только активные граждане получают избирательное право, а активным гражданином считается, согласно конституции, лишь тот, кто платит *прямой налог* известного установленного размера.

Размер этого налога был определен тогда еще очень умеренно—он не превышал совокупной цены трех рабочих дней; следовательно, если, например, считать

рабочий день в 10 зильбергрошей (30 коп.), то размер налога полагался в 1 талер (90 коп.). Но еще важнее то, что *пассивными* гражданами были об'явлены все serviteurs à gages, т.-е., служащие за *плату*, каковым постановлением все рабочее сословие было лишено избирательного права. Наконец, в подобных вопросах дело не в размере, а в *принципе*.

Был введен *ценз*, т.-е. определенное *гражданское имущество* поставлено условием участия в определении воли и цели государства путем избирательного права, этого первого и важнейшего из всех политических прав.

Все неплатящие прямых налогов или платящие менее упомянутого размера, а равно все *работающие за плату* были устранены от участия в государственной власти и обращены в подчиненную массу. *Буржуазное имущество*, или *капитал*, сделалось условием участия в государственной власти, как в средние века это было с дворянским имуществом, или с *землевладением*.

За исключением очень краткого периода Французской республики 1793 г., погибшей вследствие собственной неразумности и общего положения существовавших тогда отношений, на которых я не могу здесь остановиться ближе, принцип ценза остается основным принципом всех конституций, возникших из Французской революции.

Мало того, с последовательностью, свойственной всем принципам, он должен был возрости до совершенно другого количественного размера.

В конституции 1814 года, дарованной хартией Людовика XVIII, условием избирательного права полагался прямой налог в размере 300 франков, вместо прежнего размера—цены трех рабочих дней. Разразилась июльская революция 1830 года, и тем не менее законом 19 апреля 1831 г., как условие избирательного права требуется прямой налог в 200 франков.

То, что при Луи-Филиппе и Гизо называлось pays légal законной страной, т. е. „страной, принимаемой законом в соображение“, состояло из 200.000 человек. И во Франции было не более 200.000 избирателей, обладающих буржуазным имуществом, и эти 200 тысяч избирателей повелевали над 30 слишком миллионами жителей страны.

Здесь следует мимоходом заметить, что, в сущности, совершенно безразлично, проявляется ли принцип ценза, устранение неимущих от избирательного права, в *прямой открытой* форме, как в приведенных конституциях, или в какой-нибудь прикрытой. Результат всегда один и тот же.

Так, вторая французская республика никак не могла в 1850 году открыто отменить однажды провозглашенное всеобщее и прямое избирательное право, которое нам предстоит еще рассмотреть здесь. Но она помогла себе в этом случае изданием закона 31 мая 1850 г., которым предписывалось допускать к избирательному праву только тех граждан, которые прожили в данной местности не менее 3 лет безотлучно. Так как во Франции работники часто бывают вынуждены своим положением менять местожительство, искать работы и занятия в другой общине, то надеялись, и вполне основательно, устранить от избирательного права массы работников, которые не будут в состоянии доказать, что в течение 3 лет они безотлучно проживали в одном месте.

Следовательно, этот же ценз, но в замаскированной форме.

Еще гораздо хуже у нас со времени жалованного трехклассного избирательного закона, согласно которому 3, 10, 30 и более, смотря по местным условиям, неимущих избирателей пользуются таким же избиратель-

ным правом, как один крупный капиталист, крупный промышленник, принадлежащий к первому классу избирателей; так что если в среднем отношение это не более 1: 10, то из каждых 10 человек, имевших в 1848 году избирательное право, 9 человек утратили его через жалованный трехклассный избирательный закон 1849 года и теперь пользуются лишь призраком его.

Но чтобы показать вам, каково в действительности это среднее отношение, мне стоит только сообщить некоторые цифры из официальных правительственных списков.

В 1848 году, вследствие введенного тогда всеобщего избирательного права, у нас было 3.661.993 избирателя.

Жалованный трехклассный избирательный закон 30 мая 1849 г., исключив из числа избирателей всех неимевших определенного местожительства и всех получавших помощь из касс для бедных, низвел это число до 3.255.703. Следовательно, уже одно это ограничение лишало избирательного права 406.000 человек. Но это еще далеко не все.

Оставшиеся 3.255.000 избирателей разделяются теперь по жалованному избирательному закону на три класса, и именно, по официальным спискам, составленным в 1849 году, по издании нового закона, принадлежало:

1) к первому классу . . . 153.808 ч.
2) ко второму „ . . . . 409.945 ч.
3) к третьему „ . . . . 2.691.950 ч.

Если даже оставить второй класс в стороне и сравнить только первый и третий классы избирателей, крупных капиталистов и неимущих, то окажется, что 153.808 богатых имеют столько же голосов, сколько 2.691.950 работников, мещан и крестьян, т. е. *один* богатый обладает таким же избирательным правом, как

семнадцать неимущих. Вспомним, что законом 8 апреля 1848 года было утверждено всеобщее избирательное право, что, стало быть, тогда 153.808 работников имели на выборах одинаковый вес с 153.808 богатыми, т.-е. что *один* неимущий значил то же, что *один* богатый; это значит, что теперь, при одинаковом избирательном праве *семнадцати* работников с *одним* богатым, из каждых 17 неимущих 16 человек лишались своего законного избирательного права.

Но и это, господа, еще только среднее отношение. В действительности дело обстояло еще иначе, еще гораздо неблагоприятнее вследствие различных местных условий, и всего хуже положение дел там, где всего сильнее имущественное неравенство. Так, напр., в Дюссельдорфском округе избирателей первого класса 6.356, а третьего 166.300; следовательно, 26 избирателей третьего класса пользуются одинаковым правом с одним богатым.

Но возвратимся к руководящей нити нашего исследования. Мы уже показали и еще покажем, что буржуазия, достигнув Французской революцией владычества, сделала *свой* элемент, буржуазное имущество, господствующим принципом всех общественных учреждений; что буржуазия, действуя точно также, как действовало в средние века дворянство с *землевладением*, наложила существенную и исключительную печать *своего* собственного принципа, буржуазного имущества, или капитала, печать *своей* привилегии, на все общественные учреждения. Вследствие этого, между дворянством и буржуазией наблюдается полная параллель.

Мы уже рассмотрели эту параллель в отношении возникшего основного учреждения, государственной конституции. Как в средние века господствующим принципом представительства на немецких имперских сеймах было землевладение, так теперь право выбора в палату

а вместе с тем и право участия в государственной власти определяется явным или замаскированным цензом, размером налога, т.-е. в конечном счете *капиталовладением*, ибо размер налога обуславливается размером имущественного капитала.

Точно также обстоит дело и относительно всех других учреждений, в которых, как я вам показал, в средние века *землевладение* являлось господствующим принципом.

Я обратил тогда ваше внимание на *податную льготность* дворянского землевладения в средние века и сказал, что каждое господствующее привилегированное сословие старается свалить бремя расходов по общественному благоустройству на угнетенные, неимущие классы.

Так же действует и буржуазия. Правда, она не может открыто об'явить себя избавленной от податной повинности. Напротив, провозглашенный ею принцип состоит в том, чтобы каждый платил налог соразмерно своему доходу. Но она достигает желательного ей результата в замаскированной форме, посредством различия прямых и косвенных налогов.

Прямыми налогами, господа, называются те, которые взимаются с дохода, как классифицированный подоходный налог, или классовая подать и определяются поэтому размерами дохода и капиталовладения; косвенные же налоги—те, которые накладываются на разные потребности, как-то: соль, хлеб, пиво. мясо, топливо или на расходы общественной обороны, судебные расходы, гербовая бумага и т. п. Этот налог население уплачивает в цене вещей, не подозревая и не замечая, что платит в эту минуту подати, что цену покупаемых им вещей возвышает не что иное, как *налог*.

Но вам известно, господа, что если кто-нибудь богаче работника или мещанина в 20, 50, 100 раз, то-

он ведь от этого не съест в 20, 50, 100 раз больше соли, хлеба, мяса, не выпьет во столько же раз больше пива или вина, не чувствует во столько же раз большую потребность в комнатной теплоте, а следовательно, в топливе.

Отсюда вытекает, что все *косвенные* налоги вместо того, чтобы распределяться пропорционально капиталу и доходу лиц, ложатся несравненно большею частью своею на неимущие, беднейшие классы населения. Конечно, не буржуазия изобрела косвенные налоги,—они существовали и раньше, но она развила их в небывалую *систему* и покрывает ими все государственные расходы.

Чтобы показать вам это, я загляну, например, в прусский бюджет 1885 г.

Общая сумма государственных доходов в этом году составляла круглым счетом почти 108.903.000 талеров. Из этой суммы 11.967.000 талеров образовали доход с доменов и лесов, то-есть с имуществ, которые в наши соображения не входят. Остается, таким образом, около 97 миллионов дохода из других источников. Из них, согласно указанию бюджета, около 26 миллионов получаются *прямыми* налогами. Но и это неверно, это только так кажется, потому что наш бюджет никогда не основывается на указаниях науки и руководствуется в своих записях только внешнею формою сбора податей. Из этих 26 миллионов надо исключить 10 миллионов поземельной подати, которая хотя непосредственно и взимается с землевладельцев, но прибавляется ими к цене хлеба, т. е. уплачивается, в сущности, потребителями хлеба—следовательно, составляет налог косвенный. По тем же основаниям надо отчислить 2.900.000 талеров промысловой подати

Доходов от действительно *прямых* налогов остается только:

2,928.000 талеров классифицированной подоходной подати,
7.884.000 " классной подати и
2.036.000 " со вводов во владение.

Всего 12.848.000 талеров.

Таким образом, господа, в действительности из 97 миллионов государственных доходов прямыми налогами доставляется всего 12.800.000 талеров. Все остальное, за весьма немногими и незначительными исключениями падает на косвенные налоги, если только не держаться ненаучной классификации бюджета, который, например, не причисляет к *косвенным* налогам 8.300.000 талеров дохода с соляной монополии, что со включением расходов на его ограждение составляет 8.849.000 талеров.

Косвенный налог, господа, есть, следовательно, институт, посредством которого буржуазия осуществляет привилегию податной льготности для крупного капиталиста и взваливает расходы по содержанию государства на плечи беднейших классов общества.

В то же время заметьте, господа, это своеобразное противоречие и явную несправедливость в постановке дела: все содержание государства взваливается на косвенные налоги, т.-е. на бедный народ, но мерилом и условием избирательного права, а значит и политической власти, является прямой налог, вносящий на государственные надобности из 108 миллионов только ничтожную часть в 12 миллионов.

О средневековом дворянстве я говорил вам также, господа, что оно презирало всякую гражданскую деятельность и промышленность.

Аналогично обстоит дело и в буржуазном обществе. Правда, теперь *всякий* род труда пользуется одинаковым уважением, и если бы кто-нибудь нажил миллион собиранием тряпок или чисткой отхожих мест, он мог бы быть уверен, что встретит в обществе почет и уважение.

Но с каким презрением относится общество к тем, кто не имеет за душой капитала, как бы и над чем бы он ни трудился; это факт, о котором мне нечего говорить в своей речи, так как, к сожалению, он слишком часто встречается нам в жизни.

И даже больше того. В некоторых отношениях буржуазия проводит господство своей особенной привилегии и своих элементов еще с более строгою последовательностью, чем средневековое дворянство проводило свой принцип землевладения.

Народное просвещение — я говорю здесь о просвещении взрослых — в средние века находилось в руках духовенства. Теперь духовенство заменили газеты. Но благодаря *залогам*, которые обязаны вносить редакции, а еще более благодаря *штемпельной пошлине*, которою облагают газеты во Франции и в других странах, издание ежедневной газеты становится чрезвычайно дорогим предприятием, возможным только при очень значительном капитале. Таким образом, возможность действовать на *народное мнение*, руководить им и просвещать его сделалась привилегией крупного капитала. Не будь этого, господа, у нас были бы совершенно другие и гораздо лучшие газеты.

Любопытно видеть, господа, как рано проявилось у буржуазии стремление обратить прессу в привилегию капитала и в какой наивной и откровенной форме выразилось это стремление. Через несколько дней после штурма Бастилии, 24 июля 1789 года, то-есть в

первые же дни политического господства буржуазии, городские представители парижской общины издали распоряжение, которым подвергали содержателей типографий ответственности за печатание брошюр или листов писателей „sans existence connue“, «без определенных средств к существованию“. Итак, только что завоеванная свобода печати была уделом лишь писател й „с определенными средствами к существованию“. *Собственность* является условием свободы печати, мало того,—даже нравственности писателя! Наивность первых дней буржуазного господства выражает лишь с детскою откровенностью то, что в наше время достигается в замаскированой форме залогами и штемпелями.

Удовольствуемся, господа, этими великими, характерными фактами, соответственно нашему пониманию средних веков.

То, что мы до сих пор рассмотрели,—это два мировые периода, из которых каждый находится под господствующей идеей одного определенного сословия, налагающего *свой* принцип на все учреждения этого времени.

Первоначально мы ознакомились с идеей дворянства, или *землевладений*, составляющей господствующий принцип средних веков и проникающей все их учреждения.

Этот период окончился Французской революцией, хотя, как вам известно, в Германии, где этот переворот был произведен не народом, а правительствами, путем очень медленных и несовершенных реформ, еще существуют весьма многочисленные и значительные представители этого первого исторического периода, до сего времени на каждом шагу мешающие и препятствующие буржуазии.

Далее мы рассмотрели исторический период, начавшейся Французской революцией в конце прошлого сто-

летия и провозгласивший своим принципом крупное буржуазное владение, или капитал, который этот период возвел в свою привилегию, проникающую все общественные учреждения и обуславливающую участие в определении воли и цели государства.

Но и этот период, господа, как бы по внешнему виду это ни казалось неправдоподобным, внутренно уже истек.

24 февраля 1848 года взошла заря нового исторического периода.

В этот день во Франции, в стране, в которой могучие внутренние битвы своими победами и поражениями свободы знаменуют победы и пораженья всего человечества, вспыхнула революция, призвавшая одного работника в члены временного правительства, возвестившая целью государства улучшение участи рабочего класса, провозгласившая всеобщее и прямое избирательное право, в силу которого каждый гражданин, достигший 21 года, получает одинаковое участие в государственной власти, в определении воли и цели государства, без всякого отношения к его имущественному положению.

Вы видите, господа, что если революция 1789 года была революцией tiers état, *третьего* сословия, то революция 1848 года является уже революцией *четвертого* сословия, которое в 1789 году еще таилось в складках третьего сословия и, повидимому, совпадало с ним, но которое теперь желает сделать свой принцип господствующим принципом всего общества и проникнуть им все его учреждения.

Но здесь, при господстве четвертого сословия, тотчас же обнаруживается его громадная разница с преобладанием других классов. Ведь четвертое сословие есть последнее и крайнее сословие человеческого общества

сословие обездоленное, не выставляющее и не могущее выставить *никакого* исключительного условия, — ни правового, ни фактического, ни дворянства, ни землевладения, ни капиталовладения, — словом, ни одного условия, которое оно могло бы превратить в новую привилегию и провести через все общественные учреждения.

Мы все работники, если только имеем желание быть каким-нибудь образом полезными человеческому обществу.

Это четвертое сословие, в сердце которого не может быть *никакого* зародыша новой привилегированности, именно потому-то и тождественно со всем человечеством. Потому *его* дело есть, воистину, дело всего человечества, *его* свобода есть свобода самого человечества, *его* господство есть господство *всех*.

Вот почему, кто провозглашает идею рабочего сословия господствующим принципом общества, в том смысле, как я вам развил этот принцип здесь, тот не призывает к разделению и вражде классов общества. Это возглас примирения, возглас, обращенный ко всему обществу, возглас, сглаживающий все противоречия в общественных кругах, возглас *единения*, на который должны откликнуться все нежелающие привилегий и угнетения народа, возглас *любви*, который, вырвавшись однажды из сердца народа, *навеки останется истинным лозунгом его* и по смыслу своему сохранится *возгласом любви* даже тогда, когда клик народа грянет, как бранный.

Принцип рабочего сословия, как господствующий принцип общества, следует рассмотреть теперь в трояком отношении:

1) в отношении формального средства для его осуществления;

2) в отношении его нравственного содержания и

3) в отношении присущего ему политического воззрения на цель государства.

Мы не можем входить сегодня в рассмотрение других сторон этого принципа, да и эти три пункта принуждены, за поздним временем, обсудить очень кратко.

Формальное средство для осуществления этого принципа заключается во всеобщем и прямом избирательном праве, о котором мы уже упомянули. Я говорю о всеобщем и *прямом* избирательном праве, а не только о всеобщем, которое мы имели в 1848 году. Учреждение при выборах двух степеней—общинных избирателей и прямых избирателей—есть ни что иное, как искусственное средство, введенное с предпамеренною целью по возможности подменить на выборах выражение народной воли.

Впрочем, господа, и всеобщее прямое избирательное право не явится каким-то магическим жезлом, который мог бы предохранить вас от минутных ошибок.

Мы имели во Франции в 1848 и 1849 гг., один за другим, два неудачных избрания. Но всеобщее и прямое избирательное право есть единственное средство, само исправляющее с течением времени ошибки, к которым может привести неудачное пользование им в данную минуту. Это копье, само же исцеляющее раны, которые наносит. При всеобщем и прямом избирательном праве невозможно, чтобы избранное собрание не сделалось в конце концов верным и точным представителем избравшего его народа.

Поэтому народ должен всегда смотреть на всеобщее и прямое избирательное право, как на свое необходимейшее политическое оружие, как на самое коренное и важное из своих требований.

Теперь я кину взгляд на *нравственное* содержание того общественного принципа, который мы рассматривали.

Мысль сделать принцип *низших* классов общества господствующим началом государства и общества может показаться очень опасною и безнравственною; может казаться, что эта мысль грозит гибелью нравственности и просвещению, поглощая их в „новейшем варварстве“.

И немудренно, что такого рода опасение возникает на самом деле, потому что теперь общественное мнение чеканится капиталом и организуется руками привилегированной крупной буржуазии, которая действует с этою целью, как я уже упоминал, посредством газет.

Но этот страх есть ложный предрассудок; напротив, можно доказать, что мысль о господствующем принципе низших классов представляет собою такой прогресс и такое торжество нравственности, выше которых до сих пор всемирная история не знала.

Этот страх—предрассудок, сказал я; притом это предрассудок именно только *нынешнего* времени, одержимого привилегией.

В другое время, именно во время той Первой французской республики 1793 г., о которой я уже вам говорил, которую мы не можем сегодня подробно рассмотреть и которая необходимо должна была погибнуть от собственной неразумности, господствовал даже совсем *противоположный* предрассудок. Тогда считалось догмою что все высшие классы безнравственны и испорчены и что честен и добр только простой народ. Родоначальником этого мнения был Руссо. В новом провозглашении прав человека, изданным французским Конвентом, этим великим учредительным собранием, было установлено особою статьею, ст. 19, что „toute institution, qui nesuppose le peuple bon et le magistrat corruptible, est vicieuse“, то-есть «всякое учреждениене не предполагающее народ честным, а начальство *подлым*,—порочно». Вы видите, что это как раз противоположность той бла-

женной доверчивости, которую теперь требуют от вас и согласно которой считается величайшим преступлением всякое сомнение в благих намерениях и добродетелях начальства, между тем как народ систематически изображается каким-то диким зверем, каким-то вместилищем всех пороков.

Тогда этот противоположный догмат был доведен до того, что почти каждый, на ком был целый сюртук, уже за одно это казался преступным и подозрительным, а добродетель, честность и патриотическая нравственность считались возможными только под лохмотьями. То был период санкюлотства.

Этот взгляд, господа, имеет своим основанием *истину*, которая, однако, выражается им в *ложной* и *превратной* форме. А ведь нет ничего опаснее истины в ложной и превратной форме, ибо, какое бы ни было к ней отношение, дело всегда будет обстоять плохо. Если истина будет принята в своей ложной, превратной форме, то от этого по временам могут произойти самые печальные бессмыслицы, как было с санкюлотством. Если же из-за ложной и превратной формы будет отвергнуто все положение, то станет еще хуже, потому что вместе с тем будет отвергнута *истина*, а в данном случае такая великая истина, без признания которой в нынешней государственной жизни не возможен ни один здравый поступок.

Таким образом, чтобы выйти из этих затруднений, остается только одно средство: надо преодолеть ложную и превратную форму такого положения и выяснить ее истинное содержание.

Нынешнее общественное мнение, как я сказал, склонно вовсе отвергать это положение, как совершенно ложное, как декламацию Французской революции и Руссо. Но если даже и можно было бы относиться так небрежно

к Руссо и революции, то является уже совершенно не возможным игнорировать мнение величайшего немецкого философа, столетнюю годовщину рождения которого этот город будет праздновать в будущем месяце, философа Фихте—этого самого могучего мыслителя всех времен и народов.

Фихте говорит прямо и буквально, что чем выше сословие, тем оно безнравственнее, и что—вот его подлинные слова—„недобропорядочность возрастает соразмерно возвышению людей в обществе".

Но и Фихте не вполне точно указал на последнее основание этой истины. Как причину развращенности высших классов, он приводит их своекорыстие, эгоизм. При этом тотчас же является вопрос: почему же в низших классах нет своекорыстия или почему его в них меньше? Не поразительное ли противоречие, что низшие классы менее своекорыстны, чем высшие, несмотря на то, что последние опередили первых в образовании и воспитании,—элементах, как известно, облагораживающих?

Истинная причина и разгадка этого, повидимому, вопиющего противоречия состоит в следующем:

Как мы видели, развитие народов, дух истории уже с давних пор имеет тенденцию постепенно уничтожить привилегии, гарантирующие высшим сословиям их положение, как высших господствующих сословий. На каждый член этих сословий, не возвысившийся раз навсегда над уровнем своего личного положения высоким пониманием общего состояния общества,—а вы знаете, господа, что такие люди составляют редкое исключение,—стремится сохранить это положение; это стремление, составляющее его *личный интерес*, по необходимости ставит его в принципиально *враждебное* отношение к развитию народа, к распространению про-

свещения и науки, к успехам культуры, ко всем веяниям и победам исторической жизни.

Это противоречие между личным интересом высших сословий и культурным развитием нации и скрывает в себе причину глубокой и неизбежной безнравственности привилегированных классов. Стоит лишь подумать, в какие условия ставит их повседневная жизнь, чтобы понять необходимость их глубокого нравственного падения. Быть вынужденным ежедневно *противиться* всему высокому и прекрасному, быть вынужденным *огорчаться* их успехами, радоваться их неудачам, задерживать их прогрессивное течение, проклинать их завоевания. Вечно жить как будто во вражеской стране, и этот враг—нравственная солидарность своего народа, среди которого живешь, в стремлении к *которой* и состоит вся истинная нравственность. Высшие классы, говорю *я*, осуждены вечно жить среди своего народа, как среди *врага*, должны считаться и обращаться с ним, как с врагом, должны хитрить и скрывать эту вражду, облекать ее разными искусственными покровами.

Ко всему этому надо еще прибавить необходимость или совершать все это *против* голоса собственной совести и разума, или последовательно душить в себе этот голос, чтобы он не смущал, или, наконец, *никогда* его не знать, ничего лучшего, помимо собственной религии, корысти, не видеть и не слышать.

Такая жизнь, господа, необходимо ведет к полнейшему презрению и пренебрежению всякого идеального стремления, к издевательству над великим понятием идей, к глубокой нечувствительности и отвращению ко всему прекрасному и великому, к совершенной гибели в нас всех нравственных начал и к торжеству своекорыстных и животных страстей.

У низших классов, господа, к их счастью, не существует этого *противоречия* между личным интересом и культурным развитием нации.

Правда, и в низших классах, к сожалению, еще имеется своекорыстие, даже в гораздо большей степени, чем следовало бы. Но оно является здесь пороком индивидуальным, пороком *частных лиц*, а не необходимым пороком класса.

Ведь самый простой инстинкт подсказывает членам низших классов, что пока каждый из них думает и заботится только о себе, ему нельзя надеяться на сносное улучшение своего положения.

Но поскольку низшие классы стремятся к улучшению своего положения, как *класса*, к улучшению *участи своего сословия*, постольку их *личный* интерес, вместо того, чтобы противоречить историческому движению вещей и через это приводить к вышеупомянутой безнравственности, скорее вполне совпадает по своему *направлению* с развитием всего *народа*, с торжеством *идеи*, с прогрессом *культуры*, с жизненным принципом самой истории, которая есть ни что иное, как развитие *свободы*. Или, как я уже говорил, *ваше* дело есть дело всего *человечества*.

Таким образом, вы находитесь, господа, в счастливом положении, потому что, вместо того, чтобы быть абсолютно равнодушными к идее, вы предназначены самим *личным* интересом вашим к величайшей восприимчивости относительно нее. Вы счастливы, потому что ваш истинный личный интерес совпадает с трепетно бьющимся пульсом истории, с руководящим жизненным началом нравственного развития. Вы можете поэтому с *личною страстностью* отдаться историческому развитию, в уверенности, что чем пламеннее и напряженнее будет эта *страсть*, тем она окажется нравственнее,

Вот, господа, основания, по которым господство в государстве четвертого сословия должно принести с собой расцвет нравственности, культуры и науки—расцвет, еще невиданный в истории.

К этому присоединяется еще одно основание, теснейшим образом связанное со всем, что мы говорили, и составляющее краеугольный камень изложенного.

Четвертое сословие имеет не только иной формальный политический принцип, чем буржуазия,—всеобщее и прямое избирательное право вместо буржуазного ценза; оно не только относится благодаря своему положению иначе, чем высшие сословия, к нравственным началам,—оно имеет еще совсем другой, совершенно отличный от буржуазии взгляд на нравственную *цель государства.*

Нравственная идея государства, согласно взгляду буржуазии, заключается в том, что государство ставит своею исключительною целью лишь обеспечение каждому возможности беспрепятственно пользоваться своими силами.

Если бы мы были одинаково сильны, одинаково ловки, одинаково образованы, одинаково богаты, эту идею можно было бы считать удовлетворительною и нравственною.

Но так как подобного равенства *нет и быть не может*, то эта мысль несостоятельна и потому приводит к глубоко безнравственным выводам; она приводит к тому, что сильнейший, хитрейший, богатейший эксплоатирует беднейшего и живет на его счет.

Нравственная идея рабочего сословия состоит, напротив, в том, что беспрепятственного и свободного пользования индивидуумом своими личными силами еще *недостаточно*, что для нравственной упорядоченной

общественности необходимы, сверх того, *солидарность* интересов, *общность* и *взаимность* в развитии.

Соответственно этому отличию взглядов, буржуазия определяет нравственную цель государства так: цель государства состоит исключительно и единственно в охранении личной свободы и собственности индивидуума.

Это, господа, полицейская идея, полицейская потому, что она не может представить себе государства иначе, как в образе ночного стражника, все назначение которого состоит в предупреждении разбоя и грабежа. К сожалению, эту полицейскую идею можно очень часто встретить не только между либералами, но и у многих мнимых демократов, вследствие недостаточного умственного развития. Если бы буржуазия хотела договориться до последнего своего слова последовательно, она принуждена была бы признаться, что согласно этой идее с исчезновением воров и грабителей, государство, вообще, становится лишним*).

---

*) Эта государственная идея, собственно, совершенно уничтожающая государство и превращающая его просто в буржуазное общество эгоистических интересов, есть государственная идея *либерализма* и исторически выработана им, при могуществе которого она необходимо достигла и которое находится в прямом отношении с ее легкомыслием, она представляет истинную опасность умственного и нравственного отупения, истинную опасность современного „новейшего варварства“. В Германии ей, к счастью, противится сила античного образования, ставшего раз навсегда неизменной основой немецкого духа. Из этого античного просвещения вытекает взгляд, что «понятие государства необходимо скорее расширить настолько, насколько, по моему мнению, его возможно расширить: *государство есть учреждение, в котором должна осуществиться вся добродетель человечества*“. (Слова Августа Бека из его речи на университетском юбилее 22 марта 1862 года).

Совершенно иначе понимает цель государства четвертое сословие,—оно понимает ее именно так, какова она в действительности.

История, господа, есть борьба с природой, борьба с нищетой, невежеством, бедностью, бессилием и вместе с тем с неволей всякого рода, в которой мы находились вообще с тех пор, когда род человеческий начинал свою жизнь. Постепенное преодоление этого бессилия —вот развитие свободы, которое представляет история.

В этой борьбе мы никогда не сделали бы ни одного шага вперед, если бы вели ее *каждый сам по себе, каждый в одиночку*.

Совершить это развитие свободы, это развитие человеческого рода к свободе есть функция государства.

Государство есть единство личностей в некотором нравственном целом, единство, в миллионы раз умножающее силы *всех* личностей, вступивших в это единение, в миллион раз увеличивающее индивидуальные силы *каждой* из них.

Цель государства, следовательно, состоит не в том, чтобы *охранять* только личную свободу и собственность индивида, которыми, по буржуазному взгляду, индивид якобы уже обладает при вступлении своем в государство; нет, цель государства заключается скорее в том, чтобы соединением индивидов дать им возможность достигнуть таких ступеней существования, которые *никогда* недостижимы для *отдельной личности*, сделать их способными к изобретению такой суммы *просвещения, силы и свободы*, которая немыслима для отдельных личностей.

Итак, цель государства состоит *в положительном развитии и постепенном совершенствовании* человека, другими словами—*в осуществлении назначения* человека, т.-е. культуры, к которой способен человече-

ский род; государство есть *воспитание и развитие* человечества к свободе.

Вот, господа, настоящая нравственная природа государства, его истинная и высокая задача. Это настолько верно, что государство *силою* самих вещей в той или иной степени служило этой цели во все времена, даже невольно, даже бессознательно, даже вопреки желанию своих руководителей.

Но рабочее сословие, господа, низшие классы общества, уже вследствие беспомощного положения своих отдельных членов, обладают вообще глубоким инстинктом, внушающим им, что назначение государства состоит и должно состоять именно в том, чтобы дать отдельному индивиду, посредством соединения со всеми, возможность такого развития, которое недоступно ему, как одинокой личности.

Государство, поставленное под господство идеи рабочего сословия, не продолжало бы, как это делали до сих пор все государства, служить нравственной своей цели бессознательно и даже против воли, повинуясь лишь природе вещей и принудительной силе обстоятельств; в данном случае эта нравственная природа государства сделалась бы целью с полным сознанием и совершенною ясностью.

Государство исполнило бы тогда вполне *добровольно* и последовательно то, что до сих пор лишь отчасти исторгалось ничтожными крохами самой необходимостью у враждебных сил. Время не позволяет мне развить вам подробно все следствия этого взгляда о необходимой связи идеи рабочего класса с свободою; несомненно лишь, что разумная сознательность в преследовании нравственной цели государства вызвала бы такой под'ем духа, такое развитие суммы счастья, просвещения, благосостояния и свободы, которые не имеют ничего себе

подобного во всемирной истории и перед которыми бледнеют даже самые славные явления прежних времен.

Вот что, господа, следует назвать государственной идеей рабочего сословия, его пониманием государственной цели. Как вы видите, это понятие столь же отлично от буржуазного понятия *о цели государства*, как отличен принцип рабочего сословия, принцип участия всех в определении *воли* государства, т.-е., всеобщее избирательное право, от соответствующего принципа буржуазии—ценза.

Ряд идей, которые я здесь развил перед вами, есть то, что должно быть названо идеей рабочего сословия. Ее-то я и имел в виду, говоря вам в начале своей речи о связи современного периода истории с идеей рабочего сословия. *Этому* историческому периоду, начавшемуся 24 февраля 1848 года, принадлежит задача осуществить указанную государственную идею, и мы можем поздравить себя, господа, что мы родились в эпоху, предназначенную пережить это славнейшее создание истории, в котором и мы должны принять полезное участие.

Из сказанного следует, что для всех принадлежащих к рабочему сословию, вытекает обязанность совершенно нового способа действий.

Ничто не придает сословию более достойного и глубоко нравственного отпечатка, как сознание, что оно предназначено к господству, что оно призвано возвысить свой принцип в принцип всего века, сделать *свою* идею руководящей идеею всего общества и, таким образом, обратить это последнее в свое отражение.

Высокая всемирно историческая честь такого назначения должна овладеть всеми вашими помыслами. Пороки порабощенных, праздные развлечения немыслящих, даже

невинное легкомыслие людей незначащих—все это теперь недостойно вас. Вы—скала, на которой должна быть сооружена церковь настоящего!

Высокая нравственная продуманность *этой* мысли должна овладеть вашими умами со страстною исключительностью, должна наполнить ваш дух и сделать всю вашу жизнь достойною себя, сообразною с собою и всегда обращенную на себя. Пусть не покидает вас никогда нравственная серьезность этой мысли,—ни в вашей мастерской во время работы, ни в часы досуга, ни на прогулках, ни на сходках, ни даже когда вы ляжете на ваше жесткое ложе: пусть и тогда эта мысль наполняет и занимает собою вашу душу, пока вы не забудетесь сном. Чем безраздельнее углубитесь вы в нее, чем исключительнее будет ваш *пыл* к ней, тем быстрее—в этом вы можете быть уверены—*ускорите* вы *время* осуществления задачи нашего исторического периода, тем скорее *достигнете* вы своей цели.

Господа! Если между вами, моими слушателями, мне посчастливилось зажечь хотя бы в двоих или троих нравственное пламя этой мысли в той глубине ее, как я ее понимаю и как я вам изобразил ее, я сочту уже и это большим выигрышем и щедрым вознаграждением за свою речь.

Прежде всего, господа, не поддавайтесь малодушию и сомнению, к которым легко может привести зрелище исторических событий, неудовлетворительно освещенное мыслью

Так, например, как раз *неправда*, будто государственный декабрьский переворот 1851 г. ниспроверг во Франции республику.

То, что не могло во Франции удержаться, что действительно пало тогда, была не республика, *как таковая*, но только та республика, которая как я вам сказал, отменила законом 30 мая 1850 года всеобщее избирательное право и заменила его замаскированным

цензом, чтобы устранить работников. То была, следовательно, буржуазная республика, которая хотела наложить на республиканское государство клеймо буржуазии, господство капитала. Вот это и дало французскому узурпатору возможность, под предлогом мнимого восстановления всеобщего избирательного права, низвергнуть республику, которая иначе встретила бы несокрушимый оплот в груди французского работника.

Итак,—то, что тогда на самом деле во Франции не могло удержаться и было свергнуто,—это не республика вообще, а буржуазная республика; таким образом, при добросовестном рассмотрении этого примера, он именно доказывает, что исторический период, наступивший в феврале 1848 г., непримирим более с таким государством, которое хочет навязать обществу или сохранить в нем господствующий политический принцип третьего сословия, независимо от того, делается ли это в монархической или республиканской форме.

С высоких горных вершин науки можно раньше увидеть зарю нового дня, нежели снизу, в водовороте обыденной жизни.

Наблюдали ли вы когда-нибудь, господа, с высокой горы за восходом солнца?

Пурпурная полоса кровавым цветом окрашивает край горизонта, возвещая наступление нового дня; туманы и облака всплывают, сгущаются и стремятся навстречу зари, затмевая на мгновение ее лучи. Но нет той силы на земле, которая смогла бы остановить медленный и величественный восход самого солнца, и час спустя оно стоит на небесном своде, видимое всему миру ярко сияя и согревая.

То, что составляет один час в естественном зрелище смены каждого дня, есть одно или два десятилетия в еще более величественном зрелище всемирно-исторического восхождения солнца.



БИБЛИОТЕКА „В ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩЕМУ".

Вышли из печати и поступили в продажу:

Вып. 1. Вс. Иванов—Партизаны.
» 2. С. Под'ячев—Голодающие.
» 3. М. Горький—На плотах.
» 4. В. Короленко—Черкес.
» 5. М. Горький—9 января.
» 6. В. Короленко—Соколинец.
» 7. В. Короленко—Ночью.
» 8. А. Бебель—Положение женщины.
» 9. Артур-Арну—Мертвецы коммуны.
» 10. П. Лафарг—Патриотизм буржуазии.
» 11. В. В. Муйжель—Проклятие.
» 12. Ф. Лассаль—Програма работников.

Склад издания: Харьков, Сумская 28.